

видеть именно живыми, чтобы писать» [Русские писатели о Мамине-Сибиряке, 1952, 92].

Аввакум. Житие протопопа Аввакума, им самим написанное и другие его сочинения. Иркутск, 1979.

Гебель В. Н. В. Лесков. В творческой лаборатории. М., 1945.

Дергачев И. А. Д. Н. Мамин-Сибиряк в литературном контексте второй половины XIX века. Екатеринбург, 1992.

Дыханова Б. В поисках своего слова (из наблюдений над стилем Н. Лескова) // *Вопр. лит.* 1981. № 2.

Каргашин И. А. Сказ в русской литературе: Вопросы теории и истории. Калуга, 1996.

Лесков Н. С. Собр. соч.: В 12 т. М., 1989. Т. 1.

Лихачев Д. С. Человек в литературе Древней Руси. Л., 1970.

Максимов Д. Е. Поэзия и проза Александра Блока. Л., 1981.

Мамин-Сибиряк Д. Н. Полн. собр. соч.: В 12 т. СПб., 1917. Т. 11.

Мамин-Сибиряк Д. Н. Полн. собр. соч.: В 20 т. Екатеринбург, 2002. Т. 1.

Мамин-Сибиряк Д. Н. Собр. соч.: В 8 т. М., 1955. Т. 8.

Мочульский К. В. Гоголь. Соловьев. Достоевский. М., 1995.

Русские писатели о литературном труде: В 4 т. Л., 1955. Т. 3.

Русские писатели о Мамине-Сибиряке // *Юж. Урал.* 1952. № 8–9.

Фидлер Ф. Ф. Литературные силуэты: Д. Н. Мамин-Сибиряк // *ОМПУ.* № 4383.

Хализев В. Е. Теория литературы. М., 2005.

Е. К. Созина

«СМЕРТЬ ИВАНА ИЛЬИЧА» Л. ТОЛСТОГО В ХУДОЖЕСТВЕННОМ СОЗНАНИИ И. БУНИНА

«У нее (смерти. – Е. С.) свои истины, свои очевидности, свои возможности и невозможности. Они не мирятся с нашими обычными представлениями, и мы не умеем постигать их. Только исключительные люди, в редкие минуты напряженнейшего ду-

© Созина Е. К., 2007

шевного подъема, научаются слышать и понимать загадочный язык смерти. Это дано было и Л. Н. Толстому», – писал философ начала XX в. Л. Шестов [Шестов, 1993, 98]. Феномен Толстого обладал для Бунина исключительной притягательностью в течение всей жизни, достаточно вспомнить книгу «Освобождение Толстого», где соединены две важнейшие темы его творчества – тема смерти и тема Толстого, вполне соизмеримые по указанному Шестовым основанию. Мы рассмотрим лишь один аспект многообразного диалога Бунина и со смертью, и с Толстым: интертекстуальную переключку нескольких его произведений со знаменитой повестью Л. Толстого «Смерть Ивана Ильича». Как представляется, это позволит нам высказать свое мнение о давней проблеме так называемой «религиозности» Бунина, а также его связях с традицией русской классики, из которой творчество писателя, собственно, и произрастало.

Сегодня повесть Толстого «Смерть Ивана Ильича» достаточно часто толкуют с экзистенциалистских позиций – как означающую событие встречи со смертью «просто человека», не защищенного от смертного ужаса никакой верой, но в последние моменты своего существования обретающего «просвет» в бытие. Начало этой трактовке повести положил все тот же Лев Шестов в знаменитой статье 1920 г. «Откровения смерти». Однако, несмотря на безусловное и весьма значительное экзистенциальное содержание произведения, позиция его автора несет отчетливые религиозно-философские коннотации и отсылает нас к мощной духовной традиции, выработанной человечеством и по-своему воспринятой Л. Толстым.

Иван Ильич, проживший самую обычную, рядовую жизнь судейского чиновника, жизнь, погруженную в сплошную материальную суету и погоню за тем, чтобы все было как у всех, за последние две недели своего умирания не только прикасается к роднику народного мирозерцания (через буфетного мужика Герасима), но и подвергает страдательной переоценке всю свою прошедшую жизнь. Сама боль упорно подталкивает его к этому. Страдания, испытываемые им от болезни, – равно физические и нравственные, причем последние порой превышают боль тела («Доктор говорил, что страдания его физические ужасны, и это была правда; но ужаснее его физических страданий были его

нравственные страдания, и в этом было главное его мучение» [Толстой, 1982, 97]), – совершают желаемое любой религией «приготовление» его души к смерти. Пусть не покажется это кощунством, но сошлемся на оценку Вл. Соловьевым последних дней А. С. Пушкина: «Трехдневный смертельный недуг, разрывая связь его с житейской злобой и суетой, но не лишая его ясности и живости сознания, освободил его нравственные силы и позволил ему внутренним актом воли перерешить для себя жизненный вопрос в истинном смысле. Что перед смертью в нем действительно совершилось духовное возрождение, это сейчас же было замечено близкими людьми» [Соловьев, 1990, 199]. Близкие люди не заметили духовного возрождения Ивана Ильича, да и насколько оно было радикальным – судить трудно, однако символический выход из туннеля к свету, избавление героя повести – «просто человека» – от страха смерти говорят сами за себя: *перерождение*, очевидно, состоялось (хотя последние три дня Ивана Ильича прошли в непрерывном, почти животном крике). Поэтому повесть Л. Толстого, открывая экзистенциальное, трагедийное и трагическое сознание литературы XX в., принадлежит все же к классической парадигме художественности века XIX, ибо в ней отсутствует едва ли не главный признак экзистенциально-модернистского типа сознания – *бесосновность* человеческого существа и существования; позиция автора в ней лишена религиозного и этического релятивизма.

Именно эти критерии толстовской «веры» снимает И. Бунин, будучи уже целиком и полностью писателем иной эпохи. Он проблематизирует, ставит под сомнение не столько даже свет, открывшийся Ивану Ильичу в конце его тяжелого пути, сколько возможность избавления от страха смерти посредством веры в нечто иное, чем она сама, возможность соотнесения и замены смерти вечной жизнью, о которой не ведают наши органы чувств (а их информацией Бунин всегда и чрезвычайно дорожил), в которую не проникает сознание. В этом плане его позиция сходна с позицией Шестова, упрямо восстающего против всех видов идеализма и «самоочевидностей разума», недаром Бунин так сочувственно цитировал философа в «Освобождении Толстого».

Как пишет Е. Г. Карпенко, люди в произведениях Бунина «умирают по-разному. Одни, лишившись ощущения “утробной”

связанности с Богом и вселенной... разучились чувствовать, что смерть соотнесена с духовным Всецелым. <...> Другие, с грустью думающие о бренности земного существования... задаются вопросом о жизни после смерти, об отношении умирающего человека к Всецелому. <...> Писатель рассматривает различные формы смерти-возвращения: и мистико-библейские, и пантеистические» [Карпенко, 1999, 34]. Но на другом конце от обеих, находящихся в русле весьма почтенных традиций, «форм смерти» как раз и помещается экзистенциальный ужас человека перед этим «мировым событием», вдруг оказавшимся совсем рядом, – ужас, данный как бы в «чистом» виде и не снимаемый ни природными, ни космическими параметрами сознания, ибо сознание рядового человека, не наделенного духовной исключительностью Толстого или Бунина, оказывается их напрочь лишено. Огрубляя ситуацию, можно сказать, что пантеизм, который часто усматривают в мирозерцании Бунина¹, оборотной стороной имел чисто эмпирический, или физический, страх смерти как ужас от исчезновения своего «я» и своего тела – навсегда². И этот «красный, белый, квадратный» ужас (таков был ужас смерти Л. Толстого [Толстой, 1982, 48]) в текстах Бунина запечатлел его персональный, сугубо личный страх смерти, поэтому произведения такого рода имеют очевидный автобиографический смысл. Однако в творческой интерпретации Буниным «Смерти Ивана Ильича» наличествует и своя эволюция. В разные периоды жизни, в зависимости от «приходящих» лично-биографических и творческих факторов, художник выделял в ней те или иные, важные для себя, аспекты.

¹ Особенно ярко эту позицию выражает Г. Карпенко: «Но Бунин – пантеист...» [Карпенко, 1999, 35]; «Пантеизм... является мировоззренческим фундаментом для всех этапов творческого пути Бунина» [Карпенко, 1998, 11].

² Бунинский страх смерти отмечали многие мемуаристы, писатель и сам неоднократно говорил об этом в своих произведениях. Вот, в частности, его характерные признания на этот счет: «Я именно из тех, которые, видя колыбель, не могут не вспомнить о могиле» [Бунин, 1987–1988, IV, 461] – из очерка «Воды многие». «Я весь век под страшным знаком смерти, я несказанно боюсь ее» – из записи 1921 г. [Автобиографические... записи Бунина, 1973, 384]. Более подробно см. об этом в нашей статье, предшествовавшей данному исследованию [Созина, 1999], а также в последней книге О. В. Сливичкой [Сливичкая, 2004, 83–112].

По традиции, с повестью Толстого чаще всего сопоставляют рассказ Бунина «Господин из Сан-Франциско» [см.: Михайлов, 1976, 165–169; Долгополов, 1977, 302–304; Линков, 1989, 104–106; Мальцев, 1994, 229–232]. Обычно доказывается отличие концепции бунинского рассказа от взгляда на смерть Л. Толстого, выраженного в этом произведении. «Для Толстого, в “Иване Ильиче” – “смерти нет”, для Бунина смерть – это нечто огромное и серьезное», – пишет Ю. Мальцев [Мальцев, 1994, 231]. С этим нельзя не согласиться, но принципиальное несходство двух художников в понимании данной темы отнюдь не перечеркивает факта более глубинного схождения их позиций, что называется, «по контрасту».

Ивану Ильичу в итоге его мучений открылось, что «все было не то» – и только тогда наконец он сумел оставить границы тела, т. е. в окончательном и решающем прозрении смог освободиться и от смерти, и, естественно, от жизни с ее болью и страданием. Господин из Сан-Франциско мертв изначально, уже тогда, когда рисуется, кажется, еще вполне живым и поглощающим блага жизни³, – и тем более бесповоротно мертва и окончательна его смерть: он скрывается от живых «в просмоленном гробе в черный трюм» [Бунин, 1987, 69] – аналог преисподней. Не случайно в финале рассказа возникает образ Дьявола, сопровождающего путь корабля с трупом господина из Сан-Франциско. При желании в нем можно усмотреть социальные, исторические и прочие аллюзии и аллегории (что делалось неоднократно при анализе рассказа), но, как нам представляется, несмотря на всю многозначную символику, этот образ имеет в первую очередь буквальный, так сказать, онтологический смысл и статус. Дьявол провожает в преисподнюю, в свои владения одну из своих жертв, или одного из служителей своего культа. Как написано в «Дхаммападе», древнейшем памятнике индуистской и раннебуддийской литературы:

³ Игнатий Брянчанинов писал: «Точно, в собственном смысле слова разлучение души с телом не есть смерть; оно – только последствие смерти. Есть смерть, несравненно более страшная! Есть смерть – начало и источник всех болезней человека, и душевных, и телесных, и лютой болезни, исключительно именуемой у нас смертию. “Истинная смерть, – говорит преп. Макарий Великий, – внутри в “сердце” сокровенна, и чрез тую внешний человек жив умер”» [Слово о смерти. 1991, 113].

«Одни возвращаются в материнское лоно, праведники – на небо, делающие зло попадают в преисподнюю, лишенные желаний достигают нирваны»; «И вот твоя жизнь подошла к концу. Ты приблизился к Яме (бог смерти. – Е. С.), а между тем у тебя нет даже дома, и нет у тебя даже запаса на дорогу» [Дхаммапада, 1993, 85, 109]⁴. Таков удел господина из Сан-Франциско. Поэтому рассказ Бунина видится нам произведением из разряда мистерий, в нем все буквально – и все одновременно с тем аллегорично. Не случайно Ю. Мальцев замечал, что по манере написания рассказ близок «к абстракциям Леонида Андреева в его “Жизни человека”» [Неизвестные рассказы Бунина, 1987, 65]. Таким образом, как это ни банально звучит, но и у Толстого, и в данном рассказе Бунина герою достается та смерть, которую он заслужил, причем не только всей предшествующей жизнью, но и последним ее периодом – своеобразной «прелюдией» к смерти, которой, по существу, не было отпущено господину из Сан-Франциско. Добавим к тому известный факт: сама тема критического отношения к современной цивилизации с ее иллюзорными, мертвыми дарами сближает творчество Бунина этого периода (1915 г.) с позицией Л. Толстого.

Прямое несогласие с трактовкой смерти Л. Толстым выражается в незавершенном (так считает Ю. Мальцев) рассказе Бунина «На извозчике» устами самого героя: «“Смерть Ивана Ильича”... Неплохо написано, а в итоге все-таки ерунда. Ивану Ильичу ужасно было умирать, видите ли, потому, что он как-то не так прожил жизнь. Нет, Лев Николаевич, как ее ни проживи, смерть все равно несказанный ужас» [цит. по: Там же, 72]. Комментируя рассказ, Ю. Мальцев пишет: «В рассказе “На извозчике” Бунин вступает в прямую полемику с Толстым и его “Смертью Ивана Ильича” и противопоставляет толстовской вере в бессмертие и поиску смысла жизни леденящий холод полного безверия и разочарованность современного человека» [Там же, 65]. Он же датирует произведение Бунина октябрём 1939 г., ибо

⁴ Близкие нам мысли высказывает в своей статье Г. Ю. Карпенко: «В рассказе также узнавались и реалии иного порядка, восходящие к религиозной символике: бездна, дьявол, языческий идол, адская топка, “сигнализирующие” как раз о неизбежной гибели извратившегося мира» [Карпенко, 1999, 30].

на это время приходится дневниковая запись писателя о новом прочтении «Смерти Ивана Ильича». Датировка, на наш взгляд, достаточно условна. Так, в письме Б. Зайцеву от 9 февраля 1945 г. в связи со своей болезнью Бунин опять вспоминал повесть Толстого: «...все лезли в голову мысли об Иване Ильиче (помнишь, у него началось с пустяков – дурной вкус во рту и где-то что-то ноет)...» [Письма Бунина, 1980, 166]. Произведение Толстого было его постоянным спутником, и одной полемикой, как стремимся мы показать, дело здесь не исчерпывается. Рассказ «На извозчике» по творческой манере писателя, по самой своей проблематике и способу решения в нем темы смерти, особенно остро волновавшей писателя в первый период его эмигрантского житья, приближается к произведениям Бунина конца 1920-х гг.

В рассказе прослеживается непосредственная сюжетно-фабульная перекличка с повестью Толстого. Едучи на извозчике под впечатлением сообщения о смерти «друга-приятеля» Карцева, герой Бунина размышляет о смерти, и через его внутренний монолог, составляющий основное содержание рассказа, автор выражает свое индивидуально-человеческое переживание смерти – в этом плане дневниковость произведения очевидна. Но сама исходная ситуация рисуется «по образцу» первой главы «Смерти Ивана Ильича», описывающей похороны умершего и передающей впечатления близких и сослуживцев от его смерти. «“Каково, умер; а я вот нет”, – подумал или почувствовал каждый. Близкие же знакомые, так называемые друзья Ивана Ильича, при этом подумали невольно и о том, что теперь им надобно исполнить очень скучные обязанности приличия и поехать на панихиду и к вдове с визитом соболезнования» [Толстой, 1982, 55]. Бунинский герой вместо панихиды едет к любовнице: он как бы позволяет себе то, о чем лишь мечтают знакомые героя Толстого, но в дороге он въяве представляет и панихиду, и отпевание покойного, вспоминает о том, как появилась «нынче утром в “Новом времени” черная рамка и крупными черными буквами в строку его (Карцева. – Е. С.) имя, отчество и фамилия» [цит. по: Неизвестные рассказы Бунина, 1987, 69], – подобно тому, как в повести Толстого о смерти Ивана Ильича мы узнаем из объявления «в черном ободке», появившемся в газете «Ведомости». И умирает Карцев у Бунина хотя и неожиданно, как всегда неожиданна для

нас смерть, но после тяжелой болезни – крупозного воспаления легких. Его безымянный приятель и рассказчик (в рассказе он поименован *господином Б.*) рассуждает про себя: «Но как верно, что Иван Ильич долго был вполне уверен в случайности и временности своей болезни! Так же уверен был, конечно, и Карцев» [Там же, 72]. Иван Ильич Толстого становится своеобразной «точкой отсчета» при оценке обстоятельств и факта смерти знакомого самим героем Бунина (вот пример текста в дискурсе текста), и столкновение этих двух ситуаций – описанной Толстым и переживаемой реально (т. е. в «романной» жизни) господином Б. – вызывает у него целый поток недоуменных вопросов, эмоций и мыслей уже по поводу *своей* смертности, которые в целом доказывают очевидное: невозможность для человека понять и принять в сознание факт своей смерти⁵. Можно говорить о том, что рассказ Бунина «На извозчике» явился для автора своего рода экспериментальной площадкой художественного и чисто человеческого анализа «метафизической неустойчивости» современного человека, осуществляемого, в свою очередь, на материале произведения Л. Толстого. Возможно, «обнаженность» приема, наряду с исповедальностью рассказа, не позволили Бунину довести его до печати.

Ближайшее сходство со «Смертью Ивана Ильича» обнаруживает еще один рассказ Бунина, казалось бы, не относимый к числу малоизвестных. Это «Алексей Алексеич» (1927). Его центральным событием также является смерть главного героя, о которой мы, как и у Толстого, узнаем сразу, буквально в экспозиции рассказа, становящейся и завязкой сюжетного действия.

⁵ В качестве общечеловеческого, так сказать, комментария неразрешимости ситуации, в которой оказался герой Бунина, сошлемся на М. Мамардашвили: «Лев Шестов говорил (вернее, повторял известную истину; к сожалению, не часто повторяют ее), что есть некоторые совершенно личные вещи, которые только лично можно иметь или пережить. Совершенно личной вещью является смерть. Умереть можешь только ты сам, за тебя никто не может умереть, и ты за другого не можешь умереть – совершенно личный акт. Абсолютно личный. И вторым личным актом является акт понимания. Можешь понять только ты сам» [Мамардашвили, 1997, 58–59]. Парадокс, зафиксированный Мамардашвили, говорит о том, что понять смерть при жизни – вне духовных практик и специальных процедур осознания, вне катастрофической «встречи» с нею – обычному человеку практически невозможно.

В первой главе повести Толстого (в плане организации сюжета она была Бунину наиболее интересна) повествование ведется от лица человека, принадлежащего к кругу Ивана Ильича, ну хоть того же Петра Ивановича, его сослуживца (в рассказе «На извозчике» это место как раз и мог бы занять господин Б. – если б поехал не к любовнице, а на панихиду). Эта массово-обыденная точка зрения подчас ощутимо перекрывается беспощадно обнажающим все условности и иллюзии людской жизни взглядом автора-повествователя, который становится главенствующим со второй главы – рассказа о прошедшей жизни героя («Прошедшая история жизни Ивана Ильича была самая простая и обыкновенная и самая ужасная» [Толстой, 1982, 62]). Рассказ Бунина написан от лица человека из круга «друзей-приятелей» Алексея Алексеича, каждый день видевшего его на привычном месте за столом, рядом с его «старинным другом» княгиней, умело передающего его особую, стилизованную под русскость болтовню, которая тоже стала уже привычной. Однако заученная повторяемость действий и речей персонажа не выхолащивает их смысл, как происходило, скажем, в произведениях Л. Толстого или Чехова. Для рассказчика от этой повторяемости они становятся еще милее, ибо навеки прерываются смертью, которая, при всей своей частотности, всегда внове. Характерно, что у Бунина в рассказе о том, что Алексей Алексеич делал всегда и постоянно, употребляется прошедшее совершенное время глаголов: перед лицом смерти «всегда» превращается в единственный, последний раз.

«Нелепая, неправдоподобная весть: Алексей Алексеич умер! // (// – знак нового абзаца. – Е. С.) Всего нелепее то, до чего неожиданно умер он» [Бунин, 1987, 496], – в первой фразе сообщает бунинский рассказчик. У Толстого после небольшой экспозиции, включающей просмотр Петром Ивановичем свежего номера «Ведомостей», также сообщается о смерти Ивана Ильича: «– Господа! – сказал он, – Иван Ильич-то умер. – Неужели? – Вот, читайте, – сказал он Федору Васильевичу, подавая ему свежий, пахучий еще номер» [Толстой, 1982, 54].

Алексей Алексеич «еще только вчера, вернее, прошлой ночью... был с нами!» [Бунин, 1987, 496]. Смерть Ивана Ильича не столь неожиданна, поскольку «он болел уже несколько недель; гово-

рили, что болезнь его неизлечима» [Толстой, 1982, 54], однако для его сослуживцев она все равно внезапна. Рассказчик Бунина винит во всем «малодушие» Алексея Алексеича, позволившего себе «по-детски уверовать в эту тупицу» [Бунин, 1987, 501] – доктора Потехина, который и сразил больного «хамской беспощадностью» своего медицинского заключения. «– Ну, что же, доктор, что скажете? – спросил он наконец с усмешкой. – Дрянь дело? // И Потехин ответил, не поднимая головы: – Дрянь, не дрянь, но не скрою – неважно. – Сердце? – Оно самое. – Ну, годик-то еще попрыгаю? – опять сделал попытку пошутить Алексей Алексеич. // И Потехин, дописав и расчеркнувшись, ответил с истинно хамской беспощадностью: – Я пророчествами не занимаюсь...» [Там же, 503]. У Толстого доктор, хотя и не хамит больному Ивану Ильичу, но своим «темным» ответом также усугубляет его состояние. «– Мы, больные, вероятно, часто делаем вам неуместные вопросы, – сказал он (Иван Ильич. – Е. С.). – Вообще, это опасная болезнь или нет?... <...> – Я уже сказал вам то, что считал нужным и удобным, – сказал доктор. – Дальнейшее покажет исследование. – И доктор поклонился. // Иван Ильич вышел медленно, уныло сел в сани и поехал домой. Всю дорогу он не переставая перебирал все, что говорил доктор... И ему казалось, что смысл всего сказанного доктором был тот, что очень плохо» [Толстой, 1982, 78].

Если бы не серьезность темы, смерть Алексея Алексеича у Бунина можно было бы рассматривать как своего рода пародию на лечение у докторов толстовского Ивана Ильича. «Умер Алексей Алексеич, как вы знаете, именно на извозчике, по дороге домой (очевидна перекличка с рассказом «На извозчике». – Е. С.), и, конечно, вовсе не от неизвестности, а как раз наоборот» [Бунин, 1987, 503]. Ибо бунинский герой, в отличие от толстовского, в вопросе о смерти был «подкован» и не раз размышлял о ней (упоминает протопопа Аввакума, все болтает о смерти с княгиней), что не спасло его, однако, от бессмысленного конца, а, возможно, только приблизило к нему.

Не лишним будет вспомнить об имени героя Бунина. По П. А. Флоренскому, в имени *Алексей* «есть что-то онтологически болезненное: неприспособленность к самостоятельному существованию в мире – неприспособленность внутренняя и, легко

может быть, хотя не необходимо, – внешняя. Предельно – оно есть... *юродивость* (курсив автора. – Е. С.). Алексей, в своем предельно высшем раскрытии, есть юродивый, или около того...» [Флоренский, 1993, 118]. В христианстве этим именем назван Алексей (Алексей) Божий человек – фигура, чрезвычайно популярная в народе, чей житийный подвиг запечатлен в духовных стихах и песнях. Увлечение Бунина образами святых и юродивых не позволяет пройти мимо такого концептуально важного «совпадения»: ведь его Алексей Алексеич, как упоминалось, плетет словеса древнерусские, в разговоре в гостиную поминает «поучения святых отцов». В пользу неслучайности этой детали говорит и то обстоятельство, что в рассказе «Божье дерево» (того же 1927 г.), предшествующем в издании бунинских произведений «Алексей Алексеичу», караульщик сада и однодворец Яков рассказывает господам «сказку» «про этого Алексея Божьи человеки», достаточно точно воспроизводя перипетии житийного подвига святого [Бунин, 1987, 491–492].

История бунинского Алексея Алексеича, естественно, не совпадает с житием, более того, она ему антагонистична, но в этом антагонизме есть своя скрытая логика и связь. Алексей Божий человек совершает свой подвиг «в миру», предпочитая быть не узнаваемым родными и тем самым, как интерпретирует этот мотив жития В. Е. Ветловская, «предстает провозвестником и носителем идеи неизбирательной, неисключительной любви» [Ветловская, 1977, 188]. Своеобразную «неизбирательную» любовь к миру представляет и Алексей Алексеич Бунина – при том, что даже внешняя сторона его жизни остается абсолютно неизвестной «друзьям-приятелям»: «Да и знали ли мы вообще более или менее точно жизнь Алексея Алексеича, несмотря на то, что, кажется, не было человека во всем нашем петербургском кружке, который не был бы в приятельстве с ним?» [Бунин, 1987, 496].

«– Как Чацкий, с корабля на бал» [Там же], – говорит Алексей Алексеич, «входя в людную и светлую столовую». За Чацким в истории русской литературы закрепилась слава вечного «скитальца», в комедии же Грибоедова он *возвращается* из дальних странствий в Москву. Онегин (Алексей Алексеич использует здесь цитату из романа Пушкина) в последней главе романа также *возвращается* в Петербург из путешествия. Наконец,

в житийной истории Алексея Божьего человека решающий подвиг святой осуществляет, *возвратившись* из города Эдессы в родной Рим [см.: Житие и деяния человека Божия Алексия, 1972, 151–161]. Перед смертью он описывает свой путь, благодаря чему родные и узнают, что сын под видом нищего последние годы жил подле их дома и что он является святым, избранником Божиим. Многочисленными знакомыми бунинского Алексея Алексеича его сокровенная суть так и остается непознанной – да и есть ли она, кроме того глубинного, сверхтекстуального ядра, которое связано с его именем?..

Герой рассказа, как бы следуя интертекстуальной логике, *возвращается*, чтобы просто умереть, ибо его возвращение – поистине ниоткуда: «Вчера откуда именно приехал он? Но, по совести сказать, разве мы знали когда-нибудь, откуда он приезжает? Да и знали ли мы вообще более или менее точно жизнь Алексея Алексеича, несмотря на то, что, кажется, не было человека во всем нашем петербургском кружке, который не был бы в приятельстве с ним? <...> ...знали только то, что днем у Алексея Алексича служба, дела, деловые завтраки, заседания, что по вечерам он не пропускает ни одного порядочного концерта, – музыку он действительно любил и понимал, – а ночью непременно где-нибудь ужинает... и когда только успевает он спать?» [Бунин, 1987, 496]. В рассказе словно разворачиваются два сюжета жизни Алексея Алексеича: один – житейски-эмпирический, в котором и Куба, и Острова, и званые вечера; другой, «мерцающий» из-под первого и внешнего, – сюжет сакральный, понятный лишь посвященным, причем среди людей, окружающих героя в рассказе, в роли «посвященных» угадывается одна лишь «княгиня»: «Знала, может быть, немного больше прочих его старинный друг, княгиня» [Там же]. Этому внутреннему сюжету произведения Бунина как раз и соответствует непонятная всем остальным, пронизанная парадоксами и глумлением над общественным вкусом речь Алексея Алексеича, которая функционально оказывается сродни эзотерическому языку.

Еще одна характерная деталь жизни Алексея Божьего человека по русским народным стихам и песням – именование жены святого, от которой он ушел в свадебную ночь, «княгинею»; у Бунина «старинный друг» Алексея Алексеича и его постоянная

соседка за столом тоже зовется «княгиней». Наконец, укажем, что в «Алексеевском стихе» (менее каноническом, нежели цитируемый обычно духовный стих из собрания П. Бессонова) направителем всех действий святого является сама Богородица. Она подает ему весть о скорой кончине, к которой нужно как следует приготовиться:

Богородица гласом прогласила,
Великое чудо сотворила:
«Уж ты гой еси, Алексей человек Божий!
Ты бери-ко-ся бумагу и чернилы,
Ты пиши все свое да похождение,
Скоро тебе будет да света представленье»

[Алексеевский стих, 1991, 146].

Парадоксально, но у Бунина Алексей Алексеич умирает «на извозчике» после той черной вести, что он получил от доктора – своего рода «заместителя» духовных вождей в современном мире, который, однако, не отвел герою времени на приуготовление к смерти (напомним, что так же внезапна смерть господина из Сан-Франциско). Роль же летописца исполняет рассказчик, старающийся как можно точнее передать и стиль речи Алексея Алексеича, и те события его жизни, что ему известны или кажутся значимыми.

И у Бунина, и в житийно-песенных рассказах об Алексее Божьем человеке отсутствует сцена «прозрения» героя перед смертью, которая так важна в повести Л. Толстого. Точнее, прозрение святого произошло раньше – перед началом его духовного пути (теперь он уже знает свою судьбу), в рассказе же Бунина оно вообще не показано и, очевидно, даже не подразумевается. В силу духовной развитости бунинского героя (он знает о смерти многое) оно здесь и не нужно, и вряд ли могло бы состояться – настолько мгновенна его смерть. Хотя в то же время сама эта внезапность смерти героя после визита к доктору претендует на возможность ее толкования как смерти от какого-то сильного потрясения (прозрения? страха?).

У Толстого точка зрения автора на истинный смысл жизни, открываемый только смертью, в конце повести сливается с пониманием этого смысла прозревшим Иваном Ильичом. У Бунина точка зрения и персонажа, и автора остается скрытой: ее заслоняет

«мнение» стилизованного рассказчика. Это с его позиции – позиции человека, погруженного в монотонную, но не становящуюся от того постылой повторяемость будничных вечеров у знакомых, смерть Алексея Алексеича бессмысленна, ее стоит описать и забыть, – так размышляет о смерти приятеля герой рассказа «На извозчике» перед встречей с любовницей, и сам господин Б. прекрасно осознает этот факт. В конце рассказа в речи рассказчика ощущается интонация «всеобщности», характерная для повествовательного субъекта практически всех рассказов Бунина 1920-х гг. и выдающая точку зрения автора: «Вот тебе и “стрекочущу кузнецу”, и Куба, и Острова, и ужины у друзей-приятелей! И ни одна-то душа из этих друзей-приятелей через два-три дня даже и не вспомнит о нем. Даже и на похоронах-то будут думать только об одном: как бы покурить поскорей!» [Бунин, 1987, 503]. Очень может быть, что так мог бы сказать сам умерший, Алексей Алексеич, цинично рассуждавший под бокал с вином о смерти вообще, т. е. фактически занимавшийся профанацией и своего знания, и самой этой вечной темы.

Внутри образа главного героя остается нереализованным некий потенциал святой юродивости, заложенный в его двойное имя (Алексей, да еще Алексеич) и в сюжетику, соотносимую с именем и выводящую нас на Алексея Божьего человека. Торжествует «просто» юродивость бунинского героя – без святости, любви и духовного подвига как своей оборотной и прямо необходимой «настоящему» юродивому стороны. Алексей Алексеич Бунина лишь глумится, жизнь же юродивого являлась, как писал Г. Федотов, «постоянным качанием между актами нравственного спасения и актами безнравственного глумления над ними» [Федотов, 1990, 201]. В итоге эта односторонняя, ненастоящая, недореализованная «юродивость» персонажа рассказа превращается в странность, неуместность (за которую его постоянно упрекала княгиня) и непонятость. В случае смерти нет ни ужаса, ни просветления – есть только и именно *случай* из рода анекдотов, тревожащий нас своей интертекстуальной глубиной, ибо внутри его глубоко затаивается страх смерти, разделяемый бунинским человеком «вообще» и, судя по автобиографическим материалам, самим автором.

Обратим внимание на фактическую безымянность героев Бунина из рассмотренных нами рассказов о смерти, связанных

с повестью Л. Толстого. *Господин из Сан-Франциско*, затем некий *господин Б.* (в начале рассказа «На извозчике» на обеде встречаются «А. и Б., друзья Н. ...сидя в светлой, теплой столовой...» [Неизвестные рассказы Бунина, 1987, 68]⁶), наконец, *Алексей Алексеевич*. Безымянность здесь – знак человека «вообще», обезличенного или «всейного», как, скажем, в литературных произведениях экзистенциалистов. Иван же Ильич Толстого становится в этом ряду именем собственным – подлинным именем, он обретает все права «существования», ибо является и субъектом, и объектом авторской и персонажной полемики, хотя в произведении самого Толстого это имя не атрибутирует сущность, но указывает на значимость героя в предикации – в отношении к бытию смерти, в сфере которого он оказался.

Смерть – это поистине «мировое событие» (образ-термин М. Мамардашвили), но оно может быть понято и как некая «структура сознания»; однажды попав в нее, человек уже не волен выйти из нее целенаправленным усилием, он – и никто другой – призван решить этот (как и любой другой, аналогичный по значимости вечный) вопрос бытия. И эта структура сознания, в силу своей внутренней символической насыщенности, притягивает к совершающемуся или помещающемуся в ней «мировому событию» умы и души – состояния сознания конкретных людей. Поясним это на примере разобранных текстов.

«Да, в известные годы все-таки начинаешь уже не думать, а чувствовать, что я – тоже Кай, что не только мое тело, но и мое сознание, мысль, чувства, душа, дух – все, все должно погибнуть в некий срок навеки...», – размышляет герой бунинского рассказа «На извозчике» [Неизвестные рассказы Бунина, 1987, 72]. Ранее Иван Ильич Толстого примерял к себе тот же силлогизм про Кая, который «казался ему во всю его жизнь правильным только по отношению к Каю, но никак ни к нему» [Толстой, 1982, 86]. То есть, как писали М. Мамардашвили и А. Пятигорский, «сначала она (структура сознания. – Е. С.) является нам как представление о том, что любая вещь, личность, событие или факт **абсолютно лишены уникальности** (здесь и далее в цитатах выделения автор-

⁶ Поневолe вспоминается детская считалка-загадка: «А и Б сидели на трубе. А упало, Б пропало. Что осталось на трубе?» У Бунина «остаются» все вышеназванные – исчезает четвертый, Карцев.

ские. – Е. С.), то есть все, что с нами случается (включая нас самих), уже было бесчисленное число раз и еще бесчисленное число раз повторится». Каждый факт нашей жизни «**случается** всякий раз, когда **это** место (то, где он есть) пересекается континуумом “моих” (или “чьих-то”) сознательных состояний», и таким образом происходит «движение события по какой-то замкнутой кривой времени (включая сюда и **движение нас самих**, если события фиксированы, а мы движемся)» [Мамардашвили, Пятигорский, 1997, 97–98]. Для Бунина «мировое событие» смерти, в котором он оказался в своем внутреннем движении, явилось местом встречи его не только с Толстым – здесь «Будда, Соломон» (имена, называемые самим Буниным в рассказе «Ночь» рядом с именем Толстого), Пушкин, Гоголь, Тургенев... Но в творчестве Толстого писателю оказалось близко выражение коллизии смерти, приходящей к человеку «без корней» (а таковым, по-видимому, и ощущал себя в 1920-е гг. в эмиграции сам Бунин), без подготовительных практик «приуготовления к смерти», которым учит любая религия. Да даже если нечто похожее на них у человека есть, это ничего не меняет, ибо отсутствует сама «сущность» – должное состояние сознания (Алексей Алексеич), символическим обозначением и указателем которого и стал для Бунина толстовский «Иван Ильич».

Автобиографические и литературные записи Бунина / Предисл. и публ. А. К. Бабореко // Лит. наследство. М., 1973. Т. 84: Иван Бунин, кн. 1.

Алексеевский стих // Стихи духовные / Сост., вступ. ст., подгот. текстов и коммент. Ф. М. Селиванова. М., 1991.

Бунин И. А. Собр. соч.: В 6 т. М., 1987. Т. 4.

Ветловская В. Е. Поэтика романа «Братья Карамазовы». Л., 1977.

Долгополов Л. На рубеже веков: О русской литературе конца XIX – начала XX века. Л., 1977.

Дхаммапада / Пер. с пали В. Н. Топорова. СПб., 1993.

Житие и деяния человека Божия Алексея // Византийские легенды / Подгот. изд. С. В. Поляковой. Л., 1972.

Карпенко Г. Ю. Творчество И. А. Бунина и религиозно-философская культура рубежа веков. Самара, 1998.

Карпенко Г. Ю. О религиозно-философских источниках проблемы смерти у И. А. Бунина // И. А. Бунин: Диалог с миром. Воронеж, 1999.

Линков В. Я. Мир и человек в творчестве Л. Толстого и И. Бунина. М., 1989.

Мальцев Ю. Иван Бунин: 1870–1953. М., 1994.

Мамардашвили М. К. Психологическая топология пути: М. Пруст «В поисках утраченного времени». СПб., 1997.

Мамардашвили М. К., Пятигорский А. М. Символ и сознание: Метафизические рассуждения о сознании, символическом и языке. М., 1997.

Михайлов О. Строгий талант: Иван Бунин. Жизнь. Судьба. Творчество. М., 1976.

Неизвестные рассказы И. А. Бунина / Публ. Ю. Мальцева // Новый журн. (Нью-Йорк). 1987. Кн. 168–169.

Письма И. Бунина к Б. Зайцеву / Публ. А. Зверса // Новый журн. (Нью-Йорк). 1980. Кн. 138.

Сливицкая О. В. «Повышенное чувство жизни»: Мир Ивана Бунина. М., 2004.

Слово о смерти: Сочинение епископа Игнатия Брянчанинова. М., 1991.

Созина Е. К. Об одной интертекстуальной «оппозиции» в творчестве И. Бунина (статья первая) // Художественная литература, критика и публицистика в системе духовной культуры. Тюмень, 1999. Вып. 4.

Соловьев В. С. Судьба Пушкина // Соловьев В. С. Литературная критика. М., 1990.

Толстой Л. Н. Собр. соч.: В 24 т. М., 1982. Т. 12.

Федотов Г. П. Святые Древней Руси. М., 1990.

Флоренский П., свящ. Малое собр. соч. Б. м., 1993. Вып. 1: Имена.

Шестов Л. Соч.: В 2 т. М., 1993. Т. 2.

Н. В. Пращерук

РЕАЛЬНОСТЬ ДУХОВНОГО В ПРОЗЕ И. А. БУНИНА: СОФИОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Следует начать с уточнения объема и содержания понятия «духовный», поскольку употребляется оно, на мой взгляд, неоправ-

© Пращерук Н. В., 2007